Тексты олимпиадных заданий регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе

1. Тексты для аналитического задания (комплексный анализ текста)

Прозаические произведения

	9 класс	10 класс	11 класс
	В. Голявкин Я жду вас всегда с интересом	Е. Замятин Десятиминутная драма	В. Набоков Тяжёлый дым

Поэтические произведения

	9 класс	10 класс	11 класс
	О. Чухонцев «Зычный гудок, ветер в лицо, грохот колёс нарастающий...»	Н. Рубцов. «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…»	Г. Адамович «Когда мы в Россию вернёмся…»

9 класс. Прозаическое произведение

В. Голявкин

Я жду вас всегда с интересом

Такого педагога я не встречал за всё время своей учёбы. А учился я много. Ну, во-первых, я в некоторых классах не по одному году сидел. И когда в художественный институт поступил, на первом курсе задержался. Не говоря уже о том, что поступал я в институт пять лет подряд.

Но никто не отнёсся ко мне с таким спокойствием, с такой любовью и нежностью, никто не верил так в мои силы, как этот запомнившийся мне на всю жизнь профессор анатомии. Другие педагоги ставили мне двойки, даже не задумываясь над этим. Точно так же не задумываясь они ставили единицы, а один педагог поставил мне ноль. Когда я спросил его, что это значит, он ответил: «Это значит, что вы – НОЛЬ! Вы ни черта не знаете, а это равносильно тому, что вы сами ни черта не значите, вы не согласны со мной?» – «Послушайте, – сказал я тогда, – какое вы имеете право ставить мне

ноль? Такой отметки, насколько мне известно, не существует!» Он улыбнулся мне прямо в лицо и сказал: «Ради исключения, приятель, ради исключения, я делаю для вас исключение!» Он сказал таким тоном, как будто это было приятное исключение. Этим случаем я хочу показать, насколько все педагоги не скупились ставить мне низкие оценки.

Но этот! Нет, это был исключительный педагог!

Когда я пришёл к нему сдавать анатомию, он сразу, даже не дождавшись от меня ни слова, сказал, мягко обняв меня за плечо:

– Ни черта вы не знаете...

Я был восхищён его проницательностью, а он, по всему видно, был восхищён моим откровенным видом ничего не знающего ученика.

– Приходите в другой раз, – сказал он.

Но он не поставил мне никакой двойки, никакой единицы, ничего такого он мне не поставил! Когда я спросил его, как он догадался, что я ничего не знаю, он в ответ стал смеяться, и я тоже, глядя на него, стал хохотать. И вот так мы покатывались со смеху, пока он, всё ещё продолжая смеяться, не махнул рукой в изнеможении:

– Фу... бросьте, мой милый... я умоляю, бросьте... ой, этак вы можете уморить своего старого седого профессора...

Я ушёл от него в самом прекрасном настроении.

Во второй раз я, точно так же ничего не зная, явился к нему.

– Сколько у человека зубов? – спросил он.

Вопрос ошарашил меня: я никогда не задумывался над этим, никогда в жизни не приходила мне в голову мысль пересчитать свои зубы.

– Сто! – сказал я наугад.

– Чего? – спросил он.

– Сто зубов! – сказал я, чувствуя, что цифра неточная.

Он улыбался. Это была дружеская улыбка. Я тоже в ответ улыбнулся так же дружески и сказал:

– А сколько, по-вашему, меньше или больше?

Он уже вздрагивал от смеха, но сдерживался. Он встал, подошёл ко мне, обнял меня, как отец, который встретил своего сына после долгой разлуки.

– Я редко встречал такого человека, как вы, – сказал он, – вы доставляете мне истинное удовольствие, минуты радости, веселья... но несмотря на это...

– Почему? – спросил я.

– Никто, никто, – сказал он, – никогда не говорил мне такой откровенной чепухи и нелепости за прожитую жизнь. Никто не был так безгранично невежествен и несведущ в моём предмете. Это восхитительно! – Он потряс мне руку и, с восхищением глядя мне в глаза, сказал:

– Идите! Приходите! Я жду вас всегда с интересом!

– Спросите ещё что-нибудь, – сказал я обиженно.

– Ещё спросить? – удивился он.

– Только кроме зубов.

– А как же зубы?

– Никак, – сказал я. Мне неприятен был этот вопрос.

– В таком случае посчитайте их, – сказал он, приготавливаясь смеяться.

– Сейчас посчитать?

– Пожалуйста, – сказал он, – я вам не буду мешать.

– Спросите что-нибудь другое, – сказал я.

– Ну хорошо, – сказал он, – хорошо. Сколько в черепе костей?

– В черепе? – переспросил я. Всё-таки я ещё надеялся проскочить.

Он кивнул головой. Как мне показалось, он опять приготовился смеяться.

Я сразу сказал:

– Две!

– Какие?

– Лоб и нижняя челюсть.

Я подождал, когда он кончит хохотать, и сказал:

– Верхняя челюсть тоже имеется.

– Неужели? – сказал он.

– Так в чём же дело?! – сказал я.

– Дело в том, что там есть ещё кости кроме этих.

– Ну, остальные не так значительны, как эти,– сказал я.

– Ах, вот как! – сказал он весело.– По-вашему, значит, самая значительная – нижняя челюсть?

– Ну, не самая... – сказал я, – но тем не менее это одна из значительнейших костей в человеческом лице...

– Ну, предположим,– сказал он весело, потирая руки, – ну, а другие кости?

– Другие я забыл, – сказал я.

– И вспомнить не можете?

– Я болен, – сказал я.

– Что же вы сразу не сказали, дорогой мой!

Я думал, он мне сейчас же тройку поставит, раз я болен. И как это я сразу не догадался! Сказал бы – голова болит, трещит, разламывается, разрывается на части, раскалывается вся как есть...

А он этак весело-весело говорит:

– Вы костей не знаете.

– Ну и пусть! – говорю. Не любил я этот предмет!

– Мой милый, – сказал он, – моё восхищение вами перешло всякие границы. Я в восторге! До свидания! Жду вас!

Он с чувством пожал мне руку. Но он не поставил мне никакой двойки, никакой единицы!

– До свидания! – сказал я.

Я помахал ему на прощание рукой, а уже возле дверей поднял кверху обе руки в крепком пожатии и помахал. Он был всё-таки очень симпатичный человек, что там ни говорите. Конечно, если бы он мне тройку поставил, он

бы ещё больше симпатичный был. Но всё равно он мне нравился. Я даже подумал: уж не выучить ли мне в конце концов эту анатомию, а потом решил пока этого не делать. Я всё-таки ещё надеялся проскочить!

Когда я к нему в третий раз явился, он меня как старого друга встретил, за руку поздоровался, по плечу похлопал и спросил, из чего глаз состоит.

Я ему ответил, что глаз состоит из зрачка, а он сказал, что это ещё не всё.

– Из ресниц! – сказал я.

– И всё?

Я стал думать. Раз он так спрашивает, значит, не всё. Но что? Что там ещё есть в глазу? Если бы я хоть разок прочёл про глаз! Я понимал, конечно, что бесполезно что-нибудь рассказывать, раз не знаешь. Но я шёл напролом. Я хотел проскочить. И сказал:

– Глаз состоит из многих деталей.

– Да ну вас! – сказал он. – Ведь вы же талантливый человек!

Я думал – он разозлится. Думал – вот сейчас-то он мне и поставит двойку. Но он улыбался! И весь он был какой-то сияющий, лучистый, радостный. И я улыбнулся в ответ – такой симпатичный старик!

– Это вы серьёзно, – спросил я, – считаете меня талантливым?

– Вполне.

– Может быть, вы мне тогда поставите тройку? – сказал я. – Раз я талантлив?

– Поставить вам тройку? – сказал он. – Такому способному человеку? Да вы с ума сошли? Да вы смеётесь! Пять с плюсом вам надо! Пять с плюсом!

– Не нужно мне пять, – сказал я. – Мне не нужно! – Какая-то надежда вдруг шевельнулась, что всё-таки он может мне эту тройку поставить.

– Вам нужно пять, – сказал он. – Только пять.

– По-вашему, выходит, вы лучше знаете, что мне нужно?

– Но вы не отчаивайтесь! Главное – не отчаивайтесь! Веселей глядите вперёд, и главное – не отчаивайтесь!

– Буду отчаиваться! – крикнул я.

– Не смейте отчаиваться, – сказал он весело, глядя мне в глаза, пожимая мне дружески руку. – Вам нужно приходить! Ещё! Всё время приходить!

– Зачем?

– Учиться!

– Я неспособный! – крикнул я. Он смотрел на меня и улыбался.

– Жду вас! – сказал он. – Всегда! С интересом!

И он поднял обе руки в крепком пожатии высоко над головой, как это делал я совсем недавно.

9 класс. Поэтическое произведение

О. Чухонцев

Что ми шумить что ми звенить давеча рано пред зорями.
«Слово о полку Игореве»

Зычный гудок, ветер в лицо, грохот колёс нарастающий.
Вот и погас красный фонарь – юность, курящий вагон.
Вот и опять вздох тишины веет над ранью светающей,
и на пути с чёрных ветвей сыплется гомон ворон.

Родина! Свет тусклых полей, омут речной да излучина,
ржавчина крыш, дрожь проводов, рокот быков под мостом, –
кажется, всё, что улеглось, талой водой взбаламучено,
всплыло со дна и понеслось, чтоб отстояться потом.

Это весна всё подняла, всё потопила и вздыбила –
бестолочь дней, мелочь надежд – и показала тщету.
Что ж я стою, оторопев? Или нет лучшего выбора,
чем этот край, где от лугов илом несёт за версту?

Гром ли гремит? Гроб ли несут? Грай ли висит над просторами?
Что ворожит над головой неугомонный галдёж?
Что мне шумит, что мне звенит издали рано пред зорями?
За семь веков не оглядеть! Как же за жизнь разберёшь?

Но и в тщете благодарю, жизнь, за надежду угрюмую,
за неуспех и за пример зла не держать за душой.
Поезд ли жду или гляжу с насыпи – я уже думаю,
что и меня кто-нибудь ждёт, где-то и я не чужой.

1972

10 класс. Прозаическое произведение

Е. Замятин

Десятиминутная драма

Трамвай No 4, с двумя жёлтыми глазами, нёсся сквозь холод, ветер, тьму вдоль замёрзшей Невы. Внутри вагона было светло. Две розовые комсомолки спорили о Троцком. Дама контрабандой везла в корзинке щенка. Кондуктор тихо беседовал с бывшим старичком о Боге. Кроме автора, никто из присутствующих не подозревал, что сейчас они станут действующими лицами в моём рассказе, с волнением ожидающими развязки десятиминутной трамвайной драмы.

Действие открылось возгласом кондуктора:

– Благовещенская площадь, – по-новому площадь Труда!

Этот возглас был прологом к драме, в нём уже были налицо необходимые данные для трагического конфликта: с одной стороны – труд, с другой стороны – нетрудовой элемент в виде архангела Гавриила, явившегося деве Марии.

Кондуктор открыл дверь, и в вагон вошёл очаровательный молодой человек с нумером московских «Известий» в руках. Молодой человек сел напротив меня, старательно подтянул на коленях нежнейшие гриперлевые[1] брюки и поправил на носу очки.

Очки, разумеется, были круглые, американские, с двумя оглоблями, заложенными за уши. В этой упряжи одни, как известно, становятся похожими на доктора Фауста, другие – на беговых жеребцов. Молодой человек принадлежал к последней категории. Он нетерпеливо бил в пол лакированным копытом ботинка; ему надо вовремя, точно попасть на Васильевский остров к полудеве Марии, а кондуктор всё ещё задерживал на остановке вагон и не давал звонка. Впрочем, кондуктора нельзя винить: не мог же он отправить вагон, пока там не появится второй элемент, необходимый для драматического конфликта.

И наконец он появился. Он вошёл, утвердил на полу свои огромные валеные сапоги и крепко ухватился за вагонный ремень. Ни для кого, кроме него, не ощутимое землетрясение колыхало под его ногами, он покачивался. Покачиваясь, плыл перед ним чудесный мир: две розовые комсомолки, замечательный щенок...

– Тютька, тютька... Тютёчек ты мой!

Он нагнулся – погладить щенка, но невидимое землетрясение подкосило его, и он плюхнулся на скамью рядом со мной, как раз напротив лакированного молодого человека.

– Н-ну... Н-ну, и выпил... Ну, и что ж? – сказал он. – Им-мею полное право, да! Потому – вот они мозоли, вот, глядите!

Он продемонстрировал трамвайной аудитории свои ладони и тем избавил меня от необходимости объяснить его социальное происхождение: оно и так очевидно. И, очевидно, не случайно, волею судьбы и моей, они были посажены друг против друга: мой сосед в валенках и лакированный человек.

---

[1] Обозначение серого цвета жемчужного оттенка; образовано с искажением от французского gris de perle. Указывает на изысканность туалета.

Очки у молодого человека блестели. И блестели зубы у моего соседа – белые, красивые – от ржаного хлеба, от мороза, от широкой улыбки. Покачиваясь, он путешествовал улыбкой по лицам, он проплыл мимо розовых комсомолок, кондуктора, дамы со щенком – и остановился, привлечённый блеском американских очков. Молодой человек почувствовал на себе взгляд, он беспокойно зашевелился в оглоблях очков. Белые зубы моего соседа улыбались всё шире, шире – и наконец в полном восторге, он воскликнул:

– О! Ну, до чего хорош! Штаны-то, штаны-то какие... красота! А очки... Очки-то, глядите, братцы мои! Ну и хорош! Милый ты мой!

Комсомолки фыркнули. Молодой человек покраснел, рванулся в своей упряжи, но сейчас же вспомнил, что ему, архангелу с Благовещенской площади, не подобает связываться с каким-то пьяным мастеровым. Он затаил дыхание и нагнул оглобли своих очков над газетой.

Мастеровой, не отрываясь, глядел в его очки. Вселенная, покачиваясь, плыла перед ним. Земля в нём совершила полный оборот в течение секунды, солнце заходило – и вот оно уже зашло, белые зубы потемнели. На лице была ночь.

– А и бить же мы вас, сукиных детей, будем... эх! – вдруг сказал он, вставая. – Ты кто, а? Ты член капитала, вот ты кто, да! Будто газету читаешь, будто я тебе не шущест-вую! А вот как возьму, трахну тебе по очкам, так узнаешь, которые шуществуют!

Газета на коленях у прекрасного молодого человека трепетала. Он понял, что его василеостровское счастье погибло: в синяках, окровавленному – нельзя же ему будет предстать перед своей Марией. Двадцать пар глаз, ни на секунду не отрываясь, следили за развитием приближающейся к развязке драмы.

Мастеровой подошёл к молодому человеку, вынул руку из кармана...

Здесь, по законам драматургии, нужна была пауза – чтобы нервы у зрителей натянулись, как струна. Эту паузу заполнил кондуктор: он торопился к месту действия, чтобы выполнить свой долг христианина и главы пассажиров. Он схватил мастерового за рукав:

– Гражданин, гражданин! Полегче! Тут не полагается!

– Ты... ты лучше не лезь! Не лезь, говорю! – угрожающе буркнул мастеровой.

Кондуктор поспешно отступил к дверям и замер. Трамвай остановился.

– Большой проспект... ныне проспект Пролетарской Победы! – пробормотал кондуктор, робко открывая дверь.

– Большой Проспект? Мне тут слезать надо. Ну, не-ет, я ещё не слезу! Я останусь!

Мастеровой нагнулся к американским очкам. Было ясно, что он не уйдёт, пока драма не разрешится какой-нибудь катастрофой.

Слышно было взволнованное, частое дыхание комсомолок. Дама, обняв корзину с щенком, прижалась в угол. «Известия» трепетали на гриперлевых брюках.

– Ну-ка! Ты! Подними-ка личико! – сказал мастеровой. Прекрасный молодой человек растерянно, покорно поднял запряжённое в очки лицо, глаза его под стёклами замигали. Трамвай всё ещё стоял. У окаменевшего кондуктора не было силы протянуть руку к звонку. Мастеровой шаркнул огромными валенками и поднял руку над «членом капитала».

– Ну, – сказал он, – я слезу и, может, никогда тебя больше не увижу. А на прощанье – я тебя сейчас...

Кондуктор, затаив дыхание и предчувствуя развязку, протянул руку к звонку.

– Стой! Не смей! – крикнул мастеровой. – Дай кончить! Кондуктор снова окаменел. Мастеровой покачался секунду, как будто прицеливаясь, – и закончил фразу:

– На прощанье... Красавчик ты мой – дай я тебя поцелую!

Он облапил растерянного молодого человека, чмокнул его в губы – и вышел.

Секундная пауза – потом взрыв: трамвайная аудитория надрывалась от хохота, трамвай грохотал по рельсам всё дальше – сквозь ветер, тьму, вдоль замёрзшей Невы.

1929

10 класс. Поэтическое произведение

Н. Рубцов

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племён!
Как прежде скакали на голос удачи капризный,
Я буду скакать по следам миновавших времён…

Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность
И сам председатель плясал, выбиваясь из сил,
И требовал выпить за доблесть в труде и за честность,
И лучшую жницу, как знамя, в руках проносил!

И быстро, как ласточка, мчался я в майском костюме,
На звуки гармошки, на пенье и смех на лужке,
А мимо неслись в торопливом немолкнущем шуме
Весенние воды, и брёвна неслись по реке…

Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звёздная люстра,

И лодка моя на речной догнивает мели.

И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье, меж этих померкших полей, –
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!

О, сельские виды! О, дивное счастье родиться
В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!
Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,
Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!

Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, всё понимая, без грусти пойду до могилы…
Отчизна и воля – останься, моё божество!

Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!
Останься, как сказка, веселье воскресных ночей!
Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы
Старинной короной своих восходящих лучей!..

Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье
И тайные сны неподвижных больших деревень.
Никто меж полей не услышит глухое скаканье,
Никто не окликнет мелькнувшую лёгкую тень.

И только, страдая, израненный бывший десантник
Расскажет в бреду удивлённой старухе своей,
Что ночью промчался какой-то таинственный всадник,
Неведомый отрок, и скрылся в тумане полей…

1964

11 класс. Прозаическое произведение

В. Набоков

Тяжёлый дым

Когда зажглись, чуть ли не одним махом до самого Байришер Плац, висящие над улицей фонари, всё в неосвещённой комнате слегка сдвинулось со своих линий под влиянием уличных лучей, снявших первым делом копию с узора кисейной занавески. Уже часа три, за вычетом краткого промежутка

ужина (краткого и совершенно безмолвного, благо отец и сестра были опять в ссоре и читали за столом), он так лежал на кушетке, длинный, плоский юноша в пенсне, поблёскивающем среди полумрака. Одурманенный хорошо знакомым ему томительным, протяжным чувством, он лежал, и смотрел, и прищуривался, и любая продольная черта, перекладина, тень перекладины, обращались в морской горизонт или в кайму далёкого берега. Как только глаз научился механизму этих метаморфоз, они стали происходить сами по себе, как продолжают за спиной чудотворца зря оживать камушки, и теперь, то в одном, то в другом месте комнатного космоса, складывалась вдруг и углублялась мнимая перспектива, графический мираж, обольстительный своей прозрачностью и пустынностью: полоса воды, скажем, и чёрный мыс с маленьким силуэтом араукарии.

Из глубины соседней гостиной, отделённой от его комнаты раздвижными дверьми (сквозь слепое, зыбкое стекло которых горел рассыпанный по зыби жёлтый блеск тамошней лампы, а пониже сквозил, как в глубокой воде, расплывчато-тёмный прислон стула, ставимого так ввиду поползновения дверей медленно, с содроганиями, разъезжаться), слышался по временам невнятный, малословный разговор. Там (должно быть, на дальней оттоманке) сидела сестра со своим знакомым, и, судя по таинственным паузам, разрешавшимся, наконец, покашливанием или нежно-вопросительным смешком, они целовались. Были ещё звуки с улицы: завивался вверх, как лёгкий столб, шум автомобиля, венчаясь гудком на перекрёстке, или, наоборот, начиналось с гудка и проносилось с дребезжанием, в котором принимала посильное участие дрожь дверей.

И как сквозь медузу проходит свет воды и каждое её колебание, так всё проникало через него, и ощущение этой текучести преображалось в подобие ясновидения: лёжа плашмя на кушетке, относимой вбок течением теней, он вместе с тем сопутствовал далёким прохожим и воображал то панель у самых глаз, с дотошной отчётливостью, с какой видит её собака, то рисунок голых ветвей на не совсем ещё бескрасочном небе, то чередование витрин: куклу-парикмахера, анатомически не более развитую, чем дама червей; рамочный магазин с вересковыми пейзажами и неизбежной Inconnue de la Seine* (столь популярной в Берлине) среди многочисленных портретов главы государства; магазин ламп, где все они горят, и невольно спрашиваешь себя, какая же из них там своя, обиходная...

Он спохватился, лёжа мумией в темноте, что получается неловко: сестра, может быть, думает, что его нет дома. Но двинуться было неимоверно трудно. Трудно, – ибо сейчас форма его существа совершенно лишилась отличительных примет и устойчивых границ; его рукой мог быть, например, переулок по ту сторону дома, а позвоночником – хребтообразная туча через всё небо с холодком звёзд на востоке. Ни полосатая темнота в комнате, ни освещённое золотою зыбью ночное море, в которое преобразилось стекло дверей, не давали ему верного способа отмерить и отмежевать самого себя, и он только тогда отыскал этот способ, когда проворным чувствилищем вдруг повернувшегося во рту языка (бросившегося как бы спросонья проверить, всё

ли благополучно) нащупал инородную мягкость застрявшего в зубах говяжьего волоконца и заодно подумал, сколько уже раз в продолжение двадцатилетней жизни менялась эта невидимая, но осязаемая обстановка зубов, к которой язык привыкал, пока не выпадала пломба, оставляя за собой пропасть, которая со временем заполнялась вновь.

Понуждаемый не столько откровенной тишиной за дверьми, сколько желанием найти что-нибудь остренькое для подмоги одинокому слепому работнику, он, наконец, потянулся, приподнялся и, засветив лампу на столе, полностью восстановил свой телесный образ. Он увидел и ощутил себя (пенсне, чёрные усики, нечистая кожа на лбу) с тем омерзением, которое всегда испытывал, когда на минуту возвращался к себе и в себя из тёмного тумана, предвещавшего... что? Какой образ примет, наконец, мучительная сила, раздражающая душу? Откуда оно взялось, это растущее во мне? Мой день был такой как всегда, университет, библиотека, но по мокрой крыше трактира на краю пустыря, когда с поручением отца пришлось переть к Осиповым, стлался отяжелевший от сырости, сытый, сонный дым из трубы, не хотел подняться, не хотел отделиться от милого тлена, и тогда-то именно ёкнуло в груди, тогда-то...

На столе лоснилась клеёнчатая тетрадь, и рядом валялся, на пегом от клякс бюваре, бритвенный ножичек с каёмкой ржавчины вокруг отверстий. Кроме того лампа освещала английскую булавку. Он её разогнул и остриём, следуя несколько суетливым указаниям языка, извлёк волоконце, проглотил... лучше всяких яств... После чего язык, довольный, улёгся.

Вдруг, сквозь зыбкое стекло дверей, появилась, приложенная извне, русалочья рука; затем половины судорожно раздвинулись, и просунулась кудлатая голова сестры.

– Гришенька, – сказала она, – пожалуйста, будь ангел, достань папирос у папы.

Он ничего не ответил, и она совсем сузила яркие щели мохнатых глаз (очень плохо видела без своих роговых очков), стараясь рассмотреть, не спит ли он.

– Достань, Гришенька, – повторила она ещё просительнее, – ну, сделай это. Я не хочу к нему ходить после вчерашнего.

– Я может быть тоже не хочу, – сказал он. – Скоренько, – нежно произнесла сестра. – А, Гришенька?

– Хорошо, отстань, – сказал он наконец, и, бережно воссоединив дверные половины, она растворилась в стекле.

Он опять подвинулся к освещённому столу, с надеждой вспомнив, что куда-то засунул забытую однажды приятелем коробочку папирос. Теперь уже не видно было блестящей булавки, а клеёнчатая тетрадь лежала иначе, полураскрывшись (как человек меняет положение во сне). Кажется – между книгами. Полки тянулись сразу над столом, свет лампы добирался до корешков. Тут был и случайный хлам (больше всего), и учебники по политической экономии (я хотел совсем другое, но отец настоял на своём); были и любимые, в разное время потрафившие душе, книги, «Шатёр» и

«Сестра моя жизнь», «Вечер у Клэр» и «Bal du comte d'Orgel»**), «Защита Лужина» и «Двенадцать стульев», Гофман и Гёльдерлин, Боратынский и старый русский Бэдекер. Он почувствовал, уже не первый, – нежный, таинственный толчок в душе и замер, прислушиваясь – не повторится ли? Душа была напряжена до крайности, мысли затмевались, и, придя в себя, он не сразу вспомнил, почему стоит у стола и трогает книги. Бело-синяя картонная коробочка, засунутая между Зомбартом и Достоевским, оказалась пустой. По-видимому, не отвертеться. Была, впрочем, ещё одна возможность.

Вяло и почти беззвучно волоча ноги в ветхих ночных туфлях и неподтянутых штанах, он из своей комнаты переместился в прихожую и там нащупал свет. На подзеркальнике, около щёгольской бежевой кепки гостя, остался мягкий, мятый кусок бумаги; оболочка освобождённых роз. Он пошарил в пальто отца, проникая брезгливыми пальцами в бесчувственный мир чужого кармана, но не нашёл в нём тех запасных папирос, которые надеялся добыть, зная тяжеловатую отцовскую предусмотрительность. Ничего не поделаешь, надо к нему...

Но тут, то есть в каком-то неопределённом месте сомнамбулического его маршрута, он снова попал в полосу тумана, и на этот раз возобновившиеся толчки в душе были так властны, а главное, настолько живее всех внешних восприятий, что он не тотчас и не вполне признал собою, своим пределом и обликом, сутуловатого юношу с бледной небритой щекой и красным ухом, бесшумно проплывшего в зеркале. Догнав себя, он вошёл в столовую.

Там, у стола, накрытого давно опочившей прислугой к вечернему чаю, сидел отец и, одним пальцем шурша в чёрной с проседью бороде, а в пальцах другой руки держа на отлёте за упругие зажимчики пенснэ, изучал большой, рвущийся на сгибах, план Берлина. На днях произошёл страстный, русского порядка, спор у знакомых о том, как ближе пройти от такой-то до такой-то улицы, по которым, впрочем, никто из споривших никогда не хаживал, и теперь, судя по удивлённо недовольному выражению на склонённом лице отца, с двумя розовыми восьмёрками по бокам носа, выяснилось, что он был тогда неправ.

– Что тебе? – спросил он, вскинув глаза на сына (может быть, с тайной надеждой, что я сяду, сниму попону с чайника, налью себе, ему). – Папирос? – продолжал он тем же вопросительным тоном, уловив направление взгляда сына, который было зашёл за его спину, чтобы достать коробку, стоявшую около его прибора, но отец уже передавал её слева направо, так что случилась заминка.

– Он ушёл? – задал он третий вопрос. – Нет, – сказал сын, забрав горсть шелковистых папирос.

Выходя из столовой, он ещё заметил, как отец всем корпусом повернулся на стуле к стенным часам с таким видом, будто они сказали что-то, а потом начал поворачиваться обратно, но тут дверь закрылась, я не досмотрел. Я не досмотрел, мне не до этого, но и это, и давешние морские дали, и маленькое горящее лицо сестры, и невнятный гул круглой,

прозрачной ночи, всё, по-видимому, помогало образоваться тому, что сейчас наконец определилось. Страшно ясно, словно душа озарилась бесшумным взрывом, мелькнуло будущее воспоминание, мелькнула мысль, что точно так же, как теперь иногда вспоминается манера покойной матери при слишком громких за столом ссорах делать плачущее лицо и хвататься за висок, вспоминать придётся когда-нибудь, с беспощадной, непоправимой остротой, обиженные плечи отца, сидящего за рваной картой, мрачного, в тёплой домашней куртке, обсыпанной пеплом и перхотью; и всё это животворно смешалось с сегодняшним впечатлением от синего дыма, льнувшего к жёлтым листьям на мокрой крыше.

Промеж дверей, невидимые, жадные пальцы отняли у него то, что он держал, и вот снова он лежал на кушетке, но уже не было прежнего томления. Громадная, живая, вытягивалась и загибалась стихотворная строка; на повороте сладко и жарко зажигалась рифма, и тогда появлялась, как на стене, когда поднимаешься по лестнице со свечой, подвижная тень дальнейших строк.

Пьяные от итальянской музыки аллитераций, от желания жить, от нового соблазна старых слов – «хлад», «брег», «ветр», – ничтожные, бренные стихи, которые к сроку появления следующих неизбежно зачахнут, как зачахли одни за другими все прежние, записанные в чёрную тетрадь; но всё равно: сейчас я верю восхитительным обещаниям ещё не застывшего, ещё вращающегося стиха, лицо мокро от слёз, душа разрывается от счастья, и я знаю, что это счастье – лучшее, что есть на земле.

1934 или 1935

*Незнакомкой из Сены (франц.).
**"Бал графа д'Оржеля" (франц.).

11 класс. Поэтическое произведение

Г. Адамович

Когда мы в Россию вернёмся… о Гамлет восточный, когда? –
Пешком, по размытым дорогам, в стоградусные холода,
Без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов, пешком,
Но только наверное знать бы, что вовремя мы добредём…

Больница. Когда мы в Россию… колышется счастье в бреду,
Как будто «Коль славен» играют в каком-то приморском саду,
Как будто сквозь белые стены, в морозной предутренней мгле
Колышатся тонкие свечи в морозном и спящем Кремле.

Когда мы… довольно, довольно. Он болен, измучен и наг,
Над нами трёхцветным позором полощется нищенский флаг,

И слишком здесь пахнет эфиром, и душно, и слишком тепло.
Когда мы в Россию вернёмся… но снегом её замело.

Пора собираться. Светает. Пора бы и трогаться в путь.
Две медных монеты на веки. Скрещённые руки на грудь.

1921